

ВЕДЬМИНЫ СЛЁЗКИ

Тихо, словно дыша, поскрипывали доски старого тротуара. В Ордынке еще сохранились такие тротуары – деревянные. Ей сказали – иди сначала по улице Сибирской до киоска, там налево к «своим» домам, и зеленый дом – ведьмин.

Девушка приготовила пятнадцать рублей и его фотокарточку. На ней он был совсем молоденький солдатик, еще до знакомства с нею, еще нежнокудрый, со светлой усмешкой пухлых губ.

Ведьмин адрес ей дала подруга, разумеется, под секретом. Галя ей сказала, что идти надо поздно вечером, ближе к ночи, и сразу взять с собой деньги.

Тротуар неожиданно кончился, и девушка ступила на землю. Вдалеке смутно маячил газетный киоск. Дойдя до него, девушка свернула налево, где начинались деревянные дома, утопающие в черной гущине черемух и кленов. Она шла по темной улице вдоль настороженно молчащих домов, в которых, ей говорили, живет много татар. Они не разрешают своим красавицам дочерям выходить замуж за русских.

Недавно здесь пролилась кровь.

Девушка подумала, что в такой темноте не сможет найти зеленый дом, но сразу нашла и поняла, что это зеленый дом, хотя был он черный, как и вся улица.

Постучала. Еще раз постучала. И еще.

Кто-то вздохнул. Тогда она начала стучать, не переставая, дрожа всем телом и прижимая к левому плечу плоскую белую сумочку с пятнадцатью рублями и фотокарточкой.

Во дворе стоял сарай. В сарае жила свинья – она вздыхала. «Наверное, заколдованная, – решила девушка, услышав, как свинья хрюкнула. «Наверное, ведьмы нет дома, в гости пошла куда-нибудь», – решила она, видя, что не открывают.

Но когда, уже совсем отчаявшись, она собралась уходить, дверь тихонько приоткрылась, обдав ее запахом жареного лука, и в тусклом свете, заструившемся в щель, она увидела ведьму.

Та ничего не спросила, глянула на нее мельком и, оставив дверь полуоткрытой, повернулась к ней спиной и ушла в комнату.

Наде ничего не оставалось, как войти без приглашения. Она, закрыв сумочкой сердце, шагнула через порог, и тут же за ее спиной дверь хлопнулась с шумом, как будто сердито.

«Сквозняк», – подумала Надя, осмелев при виде нормальной жилой комнаты. Она вышла на середину к столу, застеленному красивой, свежей скатеркой, и остановилась, ища глазами бабушку.

В этот момент что-то затрепетало в ее руках и, сделавшись теплым испуганно дышащим, вырвалось, вспорхнув у самого лица.

– Моя сумочка! – закричала Надя, испуганно протягивая руку к белой голубке, в которую обратила ее сумочку расшалившаяся колдунья.

Она услышала смех за спиной и сама засмеялась – голубка была премиленькая, с нежными выпуклыми крыльями и кудрявым хохолком на маленькой круглой головке.

– Садись, девушка, – сказала ведьма, указывая на венский стул у стола.

Она села, глядя на ведьму, которая оказалась просто старухой в странном, очень светлом, очень грустном льняном платье с большими карманами на длинной, спадавшей печально-усталыми складками юбке.

Между тем голубка расхаживала по столу, совсем не боясь их. Только сейчас Надя заметила, что на голубиной груди пульсирует и сокращается, как настоящее, а оно и было настоящим, она не сомневалась, сердечко. И самым, хотя непонятно почему, ведь это даже не испугало ее, самым подозрительным ей показалось это маленькое алое пятнышко в середине сердечка. Пятнышко выглядело твердым и выпуклым, как камешек на медальоне. Когда на него падал свет лампы, оно испускало тонкие ответные лучи...

Ведьма стала ходить по комнате, что-то думать, казалось, она не замечает Надю. И девушка, невольно оторвав очарованный взгляд от голубки, стала смотреть на ведьму. Кроме этого, почему-то удивившего ее платья, на ведьме были белые носочки и хоть дешевые, клеенчатые, но какие-то нарядно-светлые босоножки из широких ремешков. Лицо у ведьмы было бледное, очень старое и будто плоское, словно нарисованное. И вся она, высокая, худая, очень плоская, была словно вырезана из картона.

Ведьма ходила по комнате неслышно, сосредоточенно, не глядя на Надю и ни о чем не спрашивая.

Надя тоже молчала. Она смотрела на бабушку испуганно и покорно.

Вдруг желтая занавеска на окне зашевелилась. Окно было не закрыто и только задернуто занавеской.

«Вполне возможно, что занавеска зашевелилась от ветра», – подумала девушка и сжалась. Что-то там, за занавеской, копошилось, шевелясь, толкаясь и хныча.

Цветы. Белопенные, тяжелые гроздья цветов тыкались в окно и жалобно лепетали. Они толкали занавеску упрямыми лобиками и лезли в окно.

– Пошли! Пошли! – закричала ведьма, затопала, замахала на них руками, и цветы, пища, сгнули.

Были это не цветы вовсе, а круглые светлые головки младенчиков. Чтобы от страха не умереть, девушка сжала колени, кулаками придавила их и задрала подбородок. Стала думать: «Я здесь для того, чтоб

ему, Витьке, солдату моему, лихо сделать. Надо сказать и деньги отдать сразу, и скорее, скорее...»

Она поворачивает голову в сторону колдуньи и рот открывает.

– Молчи, молчи, – машет та на нее рукой. Рука большая, в веснушках.

И тут происходит страшное. Надя знает, что оно происходит, и знает, где – на столе. И если посмотрит, сердце разорвется, не выдержит, но не может не посмотреть, как всегда в жизни: то, что нас губит, – притягивает. И взгляд, обезумевший, блуждающий, притягивает на круг света на скатерти. Голубка... Она в это время стоит, замерев, склонив голову набок. Кудрявый белый хохолок, словно гипсовый или из мыльной пены, когда в детстве голову моешь и, намылив, перед зеркалом делаешь старинные прически... Глаза пленкой затянуты. Голубка спит. И не ведает сама, что происходит: у нее, она не чувствует, потому что тревоги не испытывает, у нее клюв растет, длиннеет, изгибается, тянется к золотому сердечку, застывшему в страшном ожидании.

«Не буду смотреть, не буду смотреть», – бормочет девушка, вытаращив глаза, и боится, и знает, что сейчас будет. И знает, почему. Клюв нашарил сердечко и легонько ткнулся в алую капельку, и выпил... Это был не камешек, а кровь в тонкой пленке, клюв прорвал ее, выпил капельку, и осталась пустая выемка, как после камушка в кольце. И тут же сердце содрогнулось и замерло, а голубка, сама себя убив, упала на стол, крылья распластала, и клюв, снова, как прежде, короткий, полуоткрыт.

Сразу же пропадает уверенность у девушки в правильности задуманного, и такая слабость во всем теле, как после болезни. Но она тверда духом.

– Все равно, – говорит она упрямо. – Лиха ему хочу. Он меня обманул, не женился, я ребеночка своего убила. Лиха ему сделай.

– Встань, – говорит ведьма, и девушка встает.

– Будешь делать, как я скажу. Хоть одно слово скажешь, не получится. Давай карточку.

Девушка берет со стола свою белую сумочку, достает карточку, мельком взглядывает: он там молоденький совсем, ясноглазый солдатик.

– Нет в твоём сердце корысти? – спрашивает ведьма.

И она уже готова сказать, что нет, но вспоминает, что молчать надо, что ведьма нарочно спрашивает, чтоб не получилось, как в игре про барыню, голик да веник. В детстве так играли. И она молчит, пусть лучше думает, что корысть у нее, а не одна только боль и отчаяние. Она стоит и протягивает карточку с его лицом ведьме, та берет, не смотрит даже, бросает в кастрюлю, такую черную, закопченную, и траву какую-то, и воду льет, и вдруг под кастрюлей ниоткуда слабый такой синий огонь и пар удушный. Ведьма стоит, смотрит в кастрюлю, бормочет что-то, руками водит и начинает зевать – это, Наде говорили, – это к ней черти приходят начинают по вызову, по заклятию. И в стороне появляется такое облачко, и в облачке маленький человечек стоит, озирается, руками машет, смешной такой! Это же он!

Все кончается, ведьма больше не зевает, провела последний раз рукой, и все пропало. Унесла кастрюлю на кухню, вернулась, села напротив Нади и смотрит сквозь нее, бледная, сейчас заснет. Покачивается на стуле, думает. Уже сделала лихо? Уже идти можно? Но девушка молчит, знает, что говорить нельзя.

– Сейчас пойдешь к реке. Задом будешь идти, не оглядываться, все пятиться и пятиться, пока не скажу «стоп». А там снимешь чулок с левой ноги и волос с левого виска, и будет ему лихо...

Она встает, выходит на улицу, и ведьма с ней. Идет к реке задом, не оглядывается, все пятится и пятится, и смотрит на ведьму, которая наступают на нее, вперив в нее пустой взгляд. Она все сделает, чтоб ему лихо? Страшно как! Они проходят по татарской улице, где кровь пролилась, они не дают своим дочерям выходить замуж за русских... Фонарь один светит, другой нет, один светит, другой нет, один светит... ведьма наступают на нее, и она пятится, как та сказала, та сама велела, а получается, что та ее преследует, а она отступает. Кончается улица, и в спину – свежий с реки ветер. Запахло водой, тиной, мазутом. Пароход где-то гудит. Уже песок под ногами. Можно посмотреть вверх? Молча же. Вверху звездочки светят, мигают, смотрят на нее, как она лихо делает любимому. Ах, как любил он, какой ласковый был, горячий, какие слова шептал... А она ему лихо... А он ее как мучил? Что же ей делать? Сейчас остановится, снимет чулок с левой ноги... У Витьки сердце томиться начнет, станет он чахнуть, зачахнет – умрет. Гулял с другими. Не будет больше гулять. А когда же остановиться-то ей? Звездочки в небе дрожат, переполох подняли, что они там ей сигналият? Скоро, скоро... Все из-за него. Сколько она мук приняла из-за него, страха. Теперь скоро. Не будет его... Никогда... Его... никогда... Но о ком будет ей страдать, проклинать некого. Будет пусто на свете, одна ночь...

Еще не поздно, надо остановиться. Или сказать что-нибудь. А то не о ком ей будет страдать.

Вот уже вода в ногах, ах, остановиться... холодная, скорей бы домой, молока с медом и спать, подушку слезами намочив... вот уже вода сжимает ноги, живот, вот уже грудь леденит. Хорошо дома спать в постели с кошкой Муркой, сквозь сонные веки – герань на окне растет... А утром на работу, потом в кино. Вот уже вода, горло... Нельзя никого никогда убивать!

– Бабушка, я!.. – бульк.

«О, Марекьяре! О, Марекьяре!» – кричат на пароходе. Проплывают радостные огоньки. Не видно оттуда, как стоит на берегу белая старуха с поднятым вверх лицом и бессильно поникшими руками. Потом бредет медленно назад. Дома свет зажигает в пустой комнате, прибирает вокруг, стулья на место расставляет и у окна садится. Ждет. За окном стон, и влезает в окно мокрый призрак в сорочке намокшей, с него каплет вода.

Призрак на колени падает, тянет к старухе бледные руки.

– Погубила меня! Меня погубила, а его – нет! Сделай лихо! И ему сделай тогда!..

– Уйди, твое место теперь там, на реке, будешь речным огоньком, над маяками будешь летать, пароходы провожать, бакенщиков пугать... Там твое место. Там воля.

Призрак ползает в ногах у старухи, просит лиха.

– Уйди, любимым разве делают лихо?

Улетает призрак, старуха пол вытирает досуха, садится опять у окна, ничего не ждет. Плачет. Ей жаль бедную девушку, такую молодую. Но спит спокойно солдатик, ничего не знает, и никто не обидит его теперь.

Хорошо доброте – она светлая, открытая, нечего ей бояться – в ней одна радость. А когда в страдании обращаются ко злу, кто знает, какие муки оно, пробужденное, выносит, бродя на поводу у боли и несправедливости.

СТУЛ

Куда поставить стул?

Все стены заставлены плотно. Дверь – сервант, телевизор, окно, шифоньер, диван-кровать, ножная машинка «Зингер» – дверь.

Ни одного просвета.

Но стул необходимо поставить. Стул не может стоять посреди комнаты. Тогда к нему нужен стол. Столик. (Большой не влезет.) Маленький, кофейный. Но она не пьёт кофе. На столик можно поставить баночки и коробку с нитками. Тогда их не нужно будет искать, они всё время будут под рукой. Ей приходится постоянно расставлять юбку и два платья, потому что она поправляется. Каждый день немного поправляется. Однажды она показала дочери: «Удивительное дело, но я похудела!» – и показала, как раздался пояс юбки. «Это не ты похудела, это твоя юбка вся растянулась от старости», – кричала дочь. Они сильно ругались из-за еды. «Ты страдаешь булимией. Нельзя эту селёдку! Нельзя жареную картошку и хлеб с маслом. Нельзя столько весить!» А она выкрикивала: «Глупости!» И каждое утро жарила себе картошку на сливочном масле. А когда дочь выходила на кухню, говорила ей ласково и заговорщически: «Хочешь жареной картошечки?» Дочь кричала, а ей становилось весело.

Ещё она говорила: «Подвинь тубаретку».

«Во-первых, это стул, – начинала дочь дрожащим голосом, – во-вторых, табурет», – заканчивала визгом.

«Тубаретку подвинь», – повторяла она, дослушав рыдание в голосе дочери. И ей становилось легко на душе. Когда-то она чуть не стала актрисой и детским врачом с белокурой коронкой на изящной головке. Но теперь она не хотела быть ни красивой, ни культурной, интеллигентной женщиной. Её увлекали простота и доступность её желаний. А дочь этого не понимала.

В малолетстве дочь была её рукой. Этой рукой она ощупывала мир. Сама боясь к нему приближаться, она посылала дочь в самые жгучие места... «Ну, что они тебе сказали?» – спрашивала она ласковым голосом и жадно вникала в детские запинки.

Лучше бы она за собой следила, эта дочь. Этот новый мужчина, который к ней ходит, вор и обманщик. «Ну какой же он вор! – кричала дочь. – Он научный сотрудник!» «Он украл мои ложки!» – парировала она. «Вот твои ложки! – рыдала дочь. – Ты ими съела моего мужа, теперь подбираешься к моему любовнику!»

А однажды дочь отстала. Каверзы больше не кололи её, и в засады не попадалась. И когда она нарочно спрашивала: «Можно мне кусочек селёдки?» – дочь отзывалась бледным голосом: «Тебе можно всё». Она посмеивалась, посмеивалась, но тёплой волны-отдачи от меткого попадания в дочь она уже не ощущала.

Красивое, удачно скрадывающее полноту платье, флакон духов и брошь-цветок она вернула дочери: «Это для меня чересчур. Не трать

такие деньги». В лице дочери мелькнула тень. Похожая на зверя. Но таких зверей на земле не бывает. Она проверяла. Она искала его у Брэма. Она его видела раньше. Видимо, во сне. Она восхищалась своими фантазиями. И тут удивилась: фантазия-зверь воплотилась в реальности, мелькнув в лице дочери тёмной быстрой тенью.

С того дня дочь стала как-то исчезать, растворяться, пока не исчезла совсем. Ей рассказывали, что дочь видели, как она роется в помойках, её едва узнали. Но и там, неузнаваемая, она постепенно таяла, таяла и растаяла вовсе.

И она про дочь забыла. Она жила разумно, аккуратно, выходила на лавочку к старушонкам, тайно подсмеивалась над их глупостями, покупала себе батон нарезной, сетку картошки и торт «Персидская ночь».

До сегодняшнего утра.

Сегодня утром она увидела, что стул стоит посреди комнаты, мешая ей ходить. Она стала думать, куда его поставить. За дверью был пустой кусок стены. Но тогда дверь открывалась не полностью и она не могла протиснуться ни в комнату, ни из комнаты. К серванту ставить было нельзя – закрывался доступ к будильнику. Ну не к телевизору же?! К шифоньеру то же самое – доступ закрывался. Можно поставить к окну, но тогда невозможно будет подойти к нему вплотную и подглядывать из-за шторы за миром, посмеиваясь над его несуразностями.

Не могло быть и речи, чтобы вынести его в коридор или поставить в любые другие три комнаты. Богато обставленные, гордые, они пугали её какой-то безжизненностью. Так они и были безжизненны, ведь в них никто не жил! Она и не заходила в них. Только один раз, взять себе этот стул. Она ещё тогда сказала: «Ну зачем нам такой большой стол и шесть стульев?» «У меня будет семья, у нас будут гости!» – ответили ей. Она встревожилась и забрала один стул себе. Теперь по праву он был её. Он принадлежал этой комнате со старой облупленной мебелью, сломанной ножной машинкой «Зингер» и окном в мир.

Она попыталась вспомнить, где он стоял до того, как она не наткнулась на него?

У серванта?

Телевизора?

Окна?

Шифоньера?

Диван-кровати?

Машинки, на которой она не умела шить?

Вспоминала-вспоминала-вспоминала...

Комната начинала кружиться.

Она хотела засмеяться. Она всегда смеялась, когда ей было страшно. И уже произнесла шутливым тоном: «Да что же это за мучение такое, в самом деле!» Как вдруг поняла, что это настоящая мука. Самая настоящая, накопившаяся и пламенная мука. Она была хитра и решила просто сесть на стул. Чтоб он не был таким пустым. Сесть на него. Но не смогла встать с диван-кровати. «Да что же я встать-то не могу? – опять с шуткой в голосе произнесла она. – Мне ведь нужно поставить стул».

Когда слёзы закончились, она увидела, что в комнате кто-то есть. Это оказался ребёнок. Первоначальная девочка, семилетка. Тощая как палка, с жёстким белобрысым чубчиком. Но это было правильно – в те страшные двадцатые годы её стригли под машинку, чтоб не завелись вши. У девочек с косичками заводились вши, а у неё нет. В глазах у девочки было восхищение. Да, каждый год – своё восхищение. Раз, два,

три, четыре, пять, шесть, семь восхищений миром! А потом? А потом она ослепла от голода. Это случилось тогда у многих, потому что был страшный голод. И вот тогда, в ослеплённом мире, впервые мелькнул этот зверь. Она вся оледенела от его небывалого вида. Но зверь стал смешно подпрыгивать, и она вначале улыбнулась, а потом рассмеялась – зверь рассмешил слепого ребёнка, девочку семи с небольшим лет, и она подумала: «Вот, я слепая, а у меня открылась богатая фантазия». А потом и зрение вернулось, и фантазия осталась с ней. Зверя она больше не видела, но смешные прыжки ощущала часто и поэтому много смеялась.

Да, но в этой девочке, стоящей перед ней, не было следов ослепления. А свет восхищения был. Крылья, правда, были не совсем белоснежные. Вернее, совсем не белоснежные. Они огненные были. «Значит, у них наши лица, – поняла она, – наши, когда мы были первоначальными детьми. До ослепления. Теперь всё. Всё будет. Всё будет правильно», – поняла она.

И ангел взял стул и поставил его на место.

– Спасибо, – прошептала она и закрыла глаза с восхищением.